

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В дни большой войны я жил на западе Берлина. Нашел я себе там комнату с балконом в небольшом пансионе на Фазаненштрассе, вблизи зоопарка. Крохотная была комнатуха, и такой же, под стать ей, балкон, но человеку неприхотливому, вроде меня, способному довольствоваться малым, и это могло сойти за жилье.

За все время моей жизни там я ни разу не общался ни с хозяйкой пансиона, ни с другими его обитателями. По утрам служанка приносила мне на подносе стакан кофе и два-три ломтика булки, и раз в неделю к этому добавлялся квартирный счет. Чем меньше становились ломтики и чем безвкусней кофе, тем больше становился счет. На том же подносе я оставлял недельную плату и чаевые. Поняв по мне, что не любитель я пустой болтовни, служанка старалась входить и выходить неприметно. Только однажды, как бы невзначай, она немного рассказала мне о делах пан-

сиона. Фрау Тротцмюллер, его владелица, давно овдовела, муж оставил ее одну с тремя дочерьми и родившимся под старость сыном, а сын этот ушел на войну и больше не вернулся, никто не знает, погиб он или, может, попал в плен, и сколько мать и ее родичи ни старались, никаких следов найти не удалось. Много было уже погибших на этой войне, и попавших в плен, и сгинувших без вести, как отыскать среди них безвестного сына безвестной женщины, малую пылинку, несомую вихрем сражений?! Хозяйка и ее дочери не обременяли своей бедой жильцов пансиона, а те не обременяли себя излишними расспросами. Вот так оно в жизни: озабочен каждый своими невзгодами и нет в его душе свободного места для несчастий ближнего. Я же, страдавший бессонницей, часто слышал по ночам, как осиротевшая мать оплакивала своего сына.

Еще как-то раз служанка рассказала о пансионе, что в самой большой его комнате живет девушка из богатой семьи, приехавшая из деревни подучиться в городе хорошим манерам, комнату напротив нее снимает чиновник из налогового ведомства, а еще в одной комнате нашли себе прибежище двое стариков, муж и жена, бежавшие из какого-то города, оказавшегося в полосе боевых действий. В остальных же нескольких комнатах обитают как бы «постоянные постояльцы» — те, что приезжают в Берлин регулярно, всегда в одни

и те же дни и на одно и то же время. Не знаю, с чего вдруг ей вздумалось рассказывать мне то, о чем я не спрашивал. Зачем же я об этом упоминаю? Дабы оправдаться перед собой, что не пытался поменять свою комнатку на лучшую. Ведь попроси я у хозяйки другую комнату, ее бы попросту не нашлось, каждая уже была кем-то занята.

Жильцы вели себя тихо и спокойно, даже девушка из деревни, когда праздновала день рождения и пригласила к себе по этому случаю гостей, тоже не очень шумела. Не думаю, что они вели себя так из сочувствия к хозяйке. Это сама война приглушила все голоса. Хотя гром немецкой артиллерии сотрясал половину мира, в самой Германии немцы притихли.

С началом войны я забросил все свои дела, даже мое большое сочинение по истории одежды не имело продолжения, ибо стоило послышаться грохоту пушек, как все во мне словно оцепенело, осталось одно лишь желание — стиснуть все дни воедино, пока не настанет наконец день, когда уже не будет войны. Так прошли зима, и лето, и снова зима.

С возвратом новых весенних дней комнатка моя стала как бы съеживаться, ибо половина ее всегда оставалась в тени, а другую половину, никогда не видевшую солнца, обгрызал холод. Не так ли обычно рассказывают в сказках: мол, даже солнце не любит жить во тьме — вот оно и избега-

ло моей злосчастной комнатухи. Я же, лишь недавно покинувший Страну Израиля и вкусивший уже от вкуса ее солнца, весь так и тянулся к солнечному свету. Стоило мне, однако, выйти на балкон погреться, как приходилось тут же возвращаться, потому что прямо перед домом стояла группа деревьев, ветви которых поднимались до самого балкона, а листья на этих ветвях были покрыты густым слоем пыли. Из-за войны и в рабочих руках была нехватка, улицу не поливали и не подметали, и, когда поднимался ветер, вся эта пыль неслась напрямиком на мой балкон. Вот, даже деревья, посаженные людям на радость, теперь несли им одни лишь невзгоды. Верно сказано: «что человек, что дерево полевое» — затевает человек войну, умножает людские беды и страдания, а деревья спешат ему на помощь и в том соучаствуют.

Доселе — о делах квартирных. Что же до моих собственных дел, то следовало бы еще добавить, что я остался без летней одежды и обуви для лета. По мере того как множилось число беженцев из прифронтовой полосы, умножалось и число благотворителей, которые собирали для них носильные вещи, и я все мои летние костюмы и летние туфли отдал этим благотворителям, а новые купить не сумел, потому что времена были военные: хоть и кроил еще портной, и тачал сапожник, но всё для тех лишь, кто занят был войной. Все то время, что я находился в своей комнате, я не ощущал, какие

До сих пор

на мне одежда и обувь, но, когда выходил на улицу, бремя их зимней тяжести меня тяготило, и потому я помимо воли оставался по большей части дома, в этой своей комнатушке, на одной половине которой, как я уже говорил, властвовал весенний холод, а другую половину пожирала темнота. А между этими холодом и темнотой — ни проблеска, ни дуновения, потому что те деревья, что поднимали свои кроны к самому моему окну, гасили всякий свет и наполняли комнату одним лишь запахом пыли. Даже утренние росы и вечерние дожди не росой и не дождем пахли, а все той же пылью, только мокрой.

Кто знает, сколько б я еще маялся в том Берлине, в той комнатушке, и в той темени, и в той стуже, и в той пыли, когда б не внезапное письмо от несчастной вдовы доктора Леви. Она просила меня приехать в Гримму, посоветоваться насчет книг, оставшихся после покойного мужа, потому что не знала, что с ними делать.

Гнетущим было мое пребывание в Берлине, но еще более гнетущим был мой отъезд. Из-за войны порушились все порядки в немецком государстве, и даже самая малая поездка оборачивалась теперь большой трудностью. Поезда запаздывали с прибытием и медлили с отправлением, а то и не приходили вовсе и не любому человеку в любую минуту были доступны, потому что набиты были битком. А если все-таки выпадала удача и удавалось кой-

как устроиться на самом краешке вагонного сиденья и добраться до места своего назначения, то там надлежало еще испросить у местных полицейских чинов «вид на проживание», а у немецких чинов и в мирное-то время лица были воинственны донельзя, а уж в военное — и того страшнее.

Вот так обстояли дела, и даже того хуже: ведь пропитание для людей повсюду стало нормировано и на каждую крошку пищи требовался теперь «талон», а талоны, действительные в одном городе, не имели силу в другом. Отправится человек в путь, забудет взять с собой продовольственные талоны — и будет всю дорогу терзаться голодом.

В общем, достаточно было причин не ехать по приглашению. Мне, однако, живо представилось горе женщины, оставшейся без мужа, а тут еще покойный супруг к тому же оставил по себе наследие, с которым никак не управиться женским рукам, и вот теперь эта женщина обращает свой взор ко мне, в надежде на мою помощь. Припомнились мне и былые дни, проведенные в обществе доктора Леви, и его жена рядом с ним, такая милая и симпатичная. Я бросил размышлять о тяготах пути и настроился ехать.

И едва я настроился, перед моим мысленным взором, как живой, встал городок доктора Леви, каким я видел его годы назад, до войны, когда бывал у него в гостях. Вот она, та маленькая Гримма, — дремлет себе спокойно в мирной летней

тишине. А вот он я — расхаживаю по библиотечным комнатам в квартире доктора Леви. Какими радостными, какими счастливыми были те дни! И вот сейчас, когда меня просят приехать в эту Гримму, — да как же мне не поехать?!

И, не раздумывая больше, я занялся приготовлениями к поездке. Начал с пересмотра своих пожитков — что важно, что не важно, что стоит сохранить, что стоит выбросить. Потом перелистал накопившиеся рукописи. Раскрыл свое большое сочинение об одежде, просмотрел и его, вырвал безжалостно все страницы, которые показались не так уж необходимыми, и обрезал поля всех оставшихся, чтобы облегчить их перевозку. Покончив с этим, сообщил служанке, что покидаю на время пансион, и отправился в полицейский участок за разрешением на поездку. Потом вернулся в свою комнату, еще раз проверил приготовленную поклажу и присел в последний раз перед дорогой. Но тут служанка вошла снова и спросила, найдется ли у меня минутка заглянуть к ее хозяйке. Я сверился с часами и пошел.

С той поры, что я поселился у фрау Тротцмюллер, у меня еще не было случая говорить с нею, кроме того единственного раза, в день вселения, когда она зашла со своими дочерьми поприветствовать нового жильца. Ей было лет пятьдесят, и когда-то она, видимо, была яркой блондинкой, но теперь ее волосы уже густо присыпала седина,

которая поднималась ото лба кверху до самой макушки. В молодости она, вероятно, и хороша была собой, а возможно, и очень хороша, потому что следы былой красоты сохранились в ее лице и поныне, но глаза — глаза уже были из тех, что знавали слезы. И бывшие слезы, и те, которыми она по ночам оплакивала пропавшего сына.

Сдается мне, я уже упомянул, что в тот же день, что с нею, мне довелось познакомиться также и с ее дочерьми? Три их было, и каждая отличалась от другой и внешностью, и манерой говорить. Старшая, темноволосая Лотта, сплошная была округлость — круглое гладкое лицо и полные, розовые, как подрумяненное мясо, щечки. Разговаривая, она втягивала голову в плечи и шаловливо поглядывала из этого гнезда, то и дело перебивая мать и щебеча что-то голосом балованного ребенка. Ростом она была выше матери и обеих сестер, но из-за округлости всех ее форм рост этот был не так заметен. Напротив, средняя сестра, Хильдегард, была худощавой, даже худой, с черными, как смоль, волосами, а глаза ее, тонувшие в провале между выпуклым лбом и высокими скулами, словно бы все время силились выбраться из этого провала и оттого казались постоянно напряженными. В ее речи звучала некая властность, как бы заявлявшая, что это она — основа дома сего и все дела пансиона вершатся по слову ее. Не обойду и младшую, Грет, — эта тоже была худощава, подобно

Хильдегард, только волосы у нее были не черные, а цвета медного листа, лицо сплошь веснушчатое, а нос пуговкой и по малости своей порой совсем терялся в этих веснушках, но затем вдруг появлялся оттуда, выпрямляясь в приступе неуместного высокомерия; рот — будто грубая прорезь, как бы просто щель, к тому же необработанная, а голосочек такой тихий и слабый, что едва она вознамеривалась что-либо сказать, как сестры тут же перебивали ее, будто удивляясь: «Смотри-ка, такой цыпленок, а уже порывается чего-то пискнуть». Вот, кажется, я обо всех о них рассказал и вроде бы никого не забыл. Вам, возможно, странным покажется, как это я запомнил их всех до единой, но сам я не нахожу в этом ничего удивительного. Я ведь не так уж много общаюсь с себе подобными, а потому всякий, с кем мне случается какое-то время разговаривать, отпечатывается в моей памяти весь — и своим лицом, и движениями, и манерами. Стоит позднее какой-нибудь мелочи вызвать у меня в памяти имя этого человека, его наружность или даже запах, как передо мной тут же всплывает весь его образ в обычном окружении.

Войдя в гостиную, я увидел, что фрау Тротцмюллер сидит на узкой, сделанной наподобие тахты лежанке в окружении всех своих дочерей. Справа от нее сидела Лотта, слева Грет, а Хильдегард стояла у окна напротив лежанки, поливала кактус в вазоне и поначалу даже не взглянула в мою сторону.